



Представляем вторую в серии статей, посвященных теме революции (см. <https://www.pahak.org/ru/publications/JUNGER-REV>) германского философа, воина, писателя и ученого Э. Юнгера.

МЕТОД РЕВОЛЮЦИИ

Die Standarte. 1925. 25 Oktober.

Вопрос о свободе воли снова и снова ставился в течение тысячелетий и сообразно духу времени получал утвердительный или отрицательный ответ. Материалистическая эпоха, из которой мы исходим, должна была по необходимости признавать ее и в самом человеке усматривать подвижный принцип исторического свершения. Кажется, в наши дни в немалой степени переживанием войны вызвано некое внутреннее движение и возникла некая новая установка. Отовсюду нас настигает некое чаянье по углубленной религиозности, желание уверовать в высшие силы; оно сказывается и в оживлении наших старинных церковных общностей вплоть до высокоинтеллектуальных кругов в больших городах, где оно ищет утешения в оккультизме, в спиритизме и прочих диковинных разновидностях. В биологии стараются освободиться от механистических теорий дарвинизма и предпочитают витализм как учение об особой жизненной силе, обладающей своими творческими законами. А Шпенглер[1] в своей «Гибели Абендланда» развернул перед нами мощную картину, на которой культуры, великие жизненные единства мира, прорастают, как растения, цветут и блекнут, вызываемые таинственной движущей волей.

Принять подобное мировоззрение вовсе не значит броситься в объятия бездейтельного фатализма. В отношении к личному уместен, скорее, опыт судьи, который в ответ на попытку убийцы защититься тем, что его неминуемая судьба — убивать, ответил: «А моя судьба — приговорить тебя к смерти». И если мы признаем внутреннюю необходимость революции, то это отнюдь не значит, что мы признаем революционерство и его формы.

Когда мы в великом обрамлении судьбы выходим на маленькую политическую сцену и пытаемся исследовать вопрос вины, мы должны начать с себя. Разделительная линия, которой разрознила народ революция, в отличие от других революций противопоставила друг другу не классы, не сословия, не вероисповедные общности; она противопоставила национального человека ненациональному. Как уже говорилось, и национальный человек несет вину за революцию, поскольку он допустил ее, почти не сопротивляясь. Однако если руководство спасовало уже при первой вспышке восстания, если оно не отважилось использовать с надлежащей остротой всю полноту своих властных полномочий, что мог предпринять отдельный человек, воспитанный к тому же в духе послушания? Не то, в чем революция упрекнула своих священных вождей, было ее великой виной, а ее отношение к самой революции.

Поскольку здесь мы судим с точки зрения фронтовика, его позиция по отношению к революции для нас наиболее существенна.

Человек, вернувшийся на родину после четырех лет ожесточеннейшей борьбы, оставшийся фронтовиком в нашем смысле слова до последнего времени и намеренный оставаться им дальше, живший и воевавший в прочном единении со своими, столкнулся с новым, чуждым натиском городов и не мог понять его. Он, привыкший отказываться от всего, что придает ценность жизни, ради ценностей, более великих и обширных, чем отдельная судьба, не находил себе места в этой разнузданности голого, ненасытного индивидуализма. Типу революционера он сразу начал противостоять как смертельному врагу, но, так как прежнее руководство отказало, он не сразу нашел формы, чтобы дать этой вражде действенное выражение. Также он был вынужден учиться думать в новых понятиях, обрушившихся на него потоком броских слов, чтобы внутренне преодолеть их и обрести стойкость в бешеном коловращении.

Среди таких броских фраз была и нынешняя знаменитая «на почве данных фактов». Если эта фраза означает, что деятельный человек должен считаться с жесткой действительностью и приспособливаться к любому изменению обстановки, против этого нечего возразить. Но не было никакой почвы, на которой мог бы стоять фронтовик. Да, если бы революция овладела целым, если бы она не только требовала прав, но и принимала на себя обязанности, тогда в ее рамках нашлось бы место и для фронтовика. Для этого недостаточно было, чтобы она распределяла должности, занимала вакансии и пожирала старые капиталы; ей следовало принять на себя оборону

страны, чтобы привести войну если не к победному, то хотя бы к достойному завершению. При этом она не только не могла бы не сохранить ядро народного мужества, но и обрела бы для себя традицию, которой до сих пор ей явно не хватает.

Иногда спрашивают, почему эта революция со временем не овладела молодыми национальными вождями и прежде всего хотя бы частью офицерского корпуса, чтобы их работа обеспечила вооруженной силой осуществление ее идей, как это с успехом произошло в Париже в 1789 году и в России Ленина. Ответ прост. Идей не было, а без идеи можно привлечь еще меньше людей, по крайней мере стоящих, чем привлечешь их без денег. Люди появились, даже люди весьма сильного революционного запала. Но они отправились туда, куда стоило отправиться, а именно в добровольческие корпуса, продолжавшие воевать на восточной границе. Там они выполняли работу, которая в данный момент еще не оценена. Остальные были даже рады избавиться от них подобным образом, ибо, захватив власть без борьбы, хотели не дальнейшего развития, а покоя. Довольствовались фразами, вроде «революция на марше», которых было вполне достаточно, чтобы держать в страхе бессильное бюргерство. Один только Носке[2], может быть, обдумывал попытку подкрепить движение властью. Но и Носке по своему формату не был человеком власти, подобным Троцкому; перед обеими сторонами он предпочитал предстать в белой жилетке и сидел между двумя стульями; для рабочих он был кровавой собакой, а для офицеров — партийным секретарем. Его действия не доросли до огневой пробы, предпринятой в дни Каппа[3]. Да и Красная армия, выступившая в духе тех дней, за неимением профессионалов оказалась неопасной. Пока коммунизм работает в основном с пролетарскими массами под руководством тонкого слоя интеллектуалов, он будет уступать движениям, в которых действует прирожденный вождь, в особенности если этот вождь к тому же офицер. Не исключено, что у коммунистов была возможность, опираясь на Россию, объявить войну Франции и таким образом привлечь на свою сторону большую часть национальных сил, ибо вопрос о собственности не относится к тому существенному, что разобщает нас с коммунизмом. Несомненно, коммунизм как боевое движение нам ближе, чем демократия, и, несомненно, между нами последовало бы какое-нибудь соглашение, мирное или вооруженное. Но нельзя не подчеркнуть: люди того времени вовсе не хотели борьбы, не хотели личной вовлеченности, не хотели крови, они хотели покоя. Немецкий коммунизм не был русским коммунизмом. Там была идея, и ее осуществляли несмотря ни на что. Боролись внутри страны и боролись на границах. Делали историю, а у нас делали говорильню. В России ради целей, которые можно одобрять или не одобрять, искореняли целые слои населения и под руководством царских офицеров вторглись в Польшу, тогда как у нас в колебании между стилем кафе и позорными, но скучными поступками сказывалась только внутренняя слабость. Не хватало породы, мучеников, драматического развития, той убеждающей логики, с которой беспощадная поступь великой идеи сочетает деяния; короче говоря, не хватало

революции. Вполне можно предположить, что недолгое мощное развитие без оглядки на жалкую судьбу одиночек завело бы нас дальше, чем заклеивание больших язв пластырями парламентских мероприятий. Русская революция была национальной. Ради нее интернационализм лишь расширяет свои возможности к распространению. Если бы у наших коммунистов было столько выдержки и убежденности, что они могли усилиться до такого наполеоновского интернационализма с Берлином вместо Москвы, тогда бы с ними стоило разговаривать.

Во всяком случае, так называемой революции не удалось послужить фронтовикам, и это для нее характерно. Она позволила себе отказаться от таких символов, как мужество, честь, доблесть, — символов, которые приводили и будут приводить к победе. То, что революция с необходимостью заняла враждебную позицию по отношению к настоящим фронтовикам, опасно для нее и для тех, кто принял на себя ее духовное и материальное наследство.

Если бы она действительно произвела мысли, бескорыстные идеи, произросшие не из инстинктов, а из внутреннего чаянья, тогда бы ядро мужества само собой должно было выпасть на ее долю, ибо фронтовик в конце войны, изнуренный чудовищными усилиями, почувствовал себя вдруг совершенно одиноким в полной духовной заброшенности. Если бы при этом было хоть что-нибудь соответствующее способности этих людей к жертве, они бы с радостью протянули руку. Но на этой ярмарке, при этой дешевой распродаже не требовались твердые натуры. Так сила, показавшая себя столь грозной на всех границах, рассеялась, как могут рассеиваться силы только в Германии. Если последовали протесты, и порой протесты кровавые, теперь не ко времени исследовать, чья в этом вина. Будут еще поставлены памятники, о которых сегодня нечего и мечтать.

Эта революция после такой войны не оставила в нас ничего возвышающего, только удручающее воспоминание о времени, когда человек шел, шатаясь, сквозь события и проявил себя только в обнаженной корысти, направленной лишь на собственную выгоду.

[1] Шпенглер Освальд (1880—1936) — немецкий философ, оказавший заметное влияние на Эрнста Юнгера. Проанализировал кризис цивилизации на Западе в своей книге «Гибель Абендланда» (в переводе — «Закат Европы»).

[2] Носке Густав (1868—1946) — социал-демократический политик, исполнявший в 1919 году обязанности министра обороны и подавивший коммунистическое восстание в Берлине, произнеся при этом: «Кто-нибудь должен стать кровавой собакой. Я не боюсь ответственности».

[3] Капп Вольфганг (1858—1922) — возглавил в марте 1920 года в Берлине мятеж правых сил. Вооруженные силы отказались выступить против мятежников, и Носке принял на себя ответственность за это, подав в отставку с поста министра обороны.